

ИВАН ФРАНКО
ГРИЦЕВА НАУКА



Детиздат
ЦК ВЛКСМ
1941

ИВАН ФРАНКО

бр 835

ГРИЦЕВА НАУКА

РАССКАЗЫ

Перевод с украинского
Л. Ф. КОН

Рисунки Г. Пустовийта



ЦК ВЛКСМ
ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1941 Ленинград

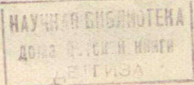
Ребята! Напишите нам, понравилась ли вам эта книга. Укажите свой адрес, имя, фамилию и возраст.

Наш адрес: Москва 12, Малый Черкасский пер., д. 1. Детиздат, Массовый отдел.

ДЛЯ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА

34759

1957-58 г.



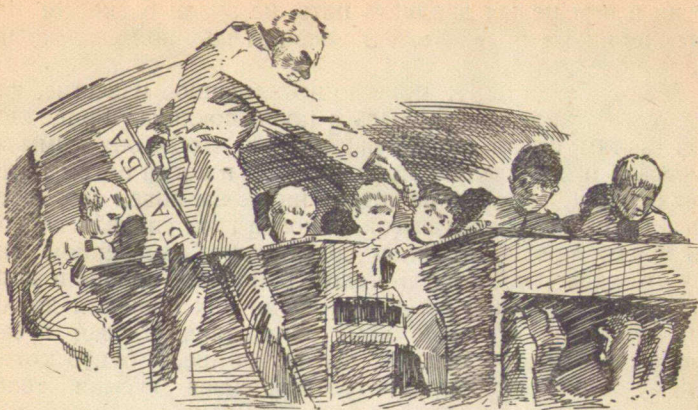
Ответственный редактор Г. Эйхлер.

Подписано к печати 20/XII 1940 г. 3²/4 печ. л. (2,51 уч.-изд. л.). 30 400 зн. в печ. л. Тираж 75 000 экз. А34127. Заказ № 1985. Цена 1 руб.

Фабрика детской книги Изд-ва детской литературы ЦК ВЛКСМ,
Москва, Суцеский вал, 49.

В случае обнаружения дефекта просим вернуть экземпляр для обмена по адресу: Москва 18, Суцеский вал, дом № 49, Фабрика детской книги.

Телефон К 5-08-50.



ГРИЦЕВА НАУКА

I

Гуси совсем ничего не знали об этом. Еще в то самое утро, когда батько задумал отвести Грица в школу, гуси не знали об этом намерении. И уж, конечно, о нем не знал сам Гриц.

Он, как всегда, встал рано, позавтракал, немножко поплакал, почесался, взял прут и вприпрыжку погнал гусей из сарая на пастбище.

Старый белый гусак, как всегда, вытянул к нему свою маленькую голову с красными глазами и широким клювом, зашипел, а потом, тараторя с гусынями о чем-то неинтересном, пошел вперед. Старая сизая гусыня, как всегда, не хотела идти со стадом, а потащилась за мостик и канаву, за что Гриц огрел ее прутот и назвал «бродягой» — так он имел обыкновение называть все, что не подчинялось его высокой власти на пастбище.

Итак, совершенно очевидно, что ни белый гусак, ни сизая гусыня, вообще ни один гусь из всего стада, хоть бы-

ло их в нем целых двадцать пять, не знали о скором перемещении их повелителя и воеводы на иной, далеко не столь почетный пост.

И вот, когда вдруг пришло неожиданное известие, когда сам батько, возвращаясь с поля, покликнул Грица домой и там отдал его в руки матери, чтобы она вымыла, вычесала и как следует придела его, и когда потом батько взял его с собой и, не говоря ни слова, повел его, перепуганного, вниз через выгон, и когда гуси увидели своего недавнего предводителя в совершенно измененном виде — в новых чоботах, в новой войлочной шляпе и подпоясанного красным ремнем, — среди них пронесся дружный и очень громкий крик изумления. Белый гусак подбежал близко к Грицу с вытянутой шеей, будто хотел к нему хорошенько присмотреться; сизая гусыня тоже вытянула голову — долгое время не могла ни слова вымолвить от сильного волнения и наконец быстро залопотала:

— Куда-да-да?

— У, дульная! — гордо заметил Гриц и немного отвернулся, будто хотел сказать: «Эге, погоди, не в такие я теперь паны выскочил, чтобы еще отвечать тебе на твои гусячьи вопросы!»

А впрочем, он, может быть, потому не ответил, что и сам не знал.

Пошли в гору селом. Батько ничего, и Гриц ничего. Пришли к большому старому дому под соломенной крышей с трубой наверху. К этому дому шло много ребят; таких, как Гриц, и побольше. За домом по огороду ходил пан в жилетке.

— Гриц! — сказал батько.

— Га! — сказал Гриц.

— Видишь эту хату?

— Вижу.

— Запомни себе — это школа.

— Ба, — сказал Гриц.

— Сюда ты будешь ходить учиться.

— Ба, — сказал Гриц.



Гриц вприпрыжку погнал гусей на пастбище.

— Веди себя хорошо, не балуй, пана профессора¹ слушай. Я иду сказать, чтоб он тебя записал.

— Ба, — сказал Гриц, почти совсем не понимая, что говорил отец.

— А ты иди с этими мальчиками. Возьмите его, мальчики, с собой!

— Иди! — сказали мальчики и взяли Грица с собой, а батько пошел пока в огород поговорить с учителем.

II

Вошли в сени, где было совсем темно и страшно воняло прошлогодней гнилой капустой.

— Видишь — там? — сказал Грицу один мальчик, указывая в темный угол.

— Вижу, — дрожа, сказал Гриц, хотя ничего не видел.

— Там яма, — сказал мальчик.

— Яма! — повторил Гриц.

— Если будешь шалить, то учитель посадит тебя в эту яму и ты будешь сидеть там всю ночь.

— Я не хочу! — вскрикнул Гриц.

В это время другой мальчик шепнул что-то первому, оба засмеялись, а потом первый, нащупав школьную дверь, сказал Грицу:

— Постучи в дверь! Шибче!

— На сто? — спросил Гриц.

— Надо! Тут так водится, когда кто в первый раз приходит.

В школе было шумно, как в улье, но когда Гриц застучал кулаками в дверь, стало тихо. Мальчики потихоньку открыли дверь и втокнули Грица внутрь. В ту же минуту по его спине захлестали здоровые березовые розги. Гриц очень испугался и завизжал.

— Цыц, дурень! — кричали на него шутники-мальчики, которые, услышав стук, засели за дверью и устроили Грицу этот сюрприз.

¹ В Западной Украине учителя из почтительности называли «паном профессором».

— Ой-ой-ой-ой! — вопил Гриц.

Мальчики испугались, что услышит учитель, и начали его уговаривать:

— Цыц, глупый, это так водится! Кто в дверь стучит, того надо по спине постучать. Ты разве не знал?

— Не-е-е зна-ал! — всхлипнул Гриц.

— Почему не знал?

— Да я-а-а пе-е-лвый лаз в сколе.

— Первый раз, а! — закричали ребята, будто удивляясь, как можно в первый раз быть в школе.

— Ну, тогда тебя надо угостить! — сказал один, подскочил к доске, взял из ящичка хороший кусок мела и подал Грицу.

— На, дурень, ешь, да скорее!

Все молча глядели на Грица, который вертел в руках мел, а потом потихоньку положил его в рот.

— Ешь, дурень, да поскорей! — напоминали ребята, давясь от смеха.

Гриц стал хрупать мел и наконец насилу-насилу съел его.

Хохот в школе раздался такой, что окна зазвенели.

— Цего смеетесь? — спросил удивленный Гриц.

— Ничего, ничего. Может, хочешь еще?

— Не, не хочу. А сто это?

— Так ты и этого не знаешь? Вот глупый! Да это иерусалим такой, это очень вкусно.

— Ой, не очень вкусно! — сказал Гриц.

— Это ты еще не разобрал. Это должен есть каждый, кто в первый раз приходит в школу.

В эту минуту вошел учитель. Все ребята, как испугнутые воробьи, метнулись к скамейкам, только Гриц остался стоять, со слезами на глазах и с губами, измазанными мелом. Учитель грозно приблизился к нему.

— Как зовут? — крикнул он.

— Глиц.

— Что за Гриц? Ага, ты новый. Почему не сидишь на скамейке? Чего плачешь? Чем побелился? А?

— Это я ел елусалим...

— Что? Какой иерусалим? — допытывался учитель.

Ребята опять давились от смеха.

— Да лебята давали.

— Какие ребята?

Гриц оглянулся на ребят, но не мог ни одного узнать.

— Ну-ну! Иди садись и учись хорошенько, а иерусалима больше не ешь, а то будешь бит.

III

Началось ученье. Учитель что-то говорил, показывал дощечки, на которых были нарисованы какие-то крючки и палочки, ребята что-то кричали, когда учитель показывал новую дощечку, а Гриц ничего этого не понимал. Он даже не смотрел на учителя, а ему очень забавными казались мальчики, что сидели вокруг него.

Один ковырял пальцем в носу, другой сзади все старался воткнуть Грицу в ухо тоненький стебелек, третий очень усердно работал, выдергивая из своего старого кафтана нитки. Перед ним на нижней доске парты уже лежала их целая куча, а он все дергал и дергал изо всей силы.

— Зачем ты их делгаешь? — спросил Гриц.

— Буду дома с болсцом есть, — ответил шепеляво мальчик.

И Гриц долго размышлял над тем, не смеется ли над ним этот мальчик.

— А ты, Гриц-убогий, совсем не слушаешь! — закричал на него учитель и так крутнул ему ухо, что у Грица невольно слезы навернулись на глаза.

Он так перепугался, что долго не только не мог слушать, а вообще позабыл обо всем на свете. Когда наконец он опомнился, ребята уже читали склады на табличках, которые раскладывал и складывал учитель. Они неутомимо по сто раз нараспев повторяли: «а-ба-ба, га-ла-ма-га». Грицу неизвестно почему это очень понравилось, и

он начал своим пискливым голосом раньше всех выкрикивать:

— А-ба-ба, га-ла-ма-га.

Учитель уже готов был признать его очень прилежным и способным мальчиком и, желая еще лучше убедиться в этом, переставил буквы. Неожиданно он выставил перед учениками буквы «баба», но Гриц, глядя не на них, а только на учителя, тонким певучим голосом крикнул:

— Галамага!

Все расхохотались, не исключая и учителя, только Гриц удивленно оглянулся и все так же громко сказал своему соседу:

— Поцему ты не клицись «галамага»?

Бедняга опомнился лишь тогда, когда учитель за понятливость вытянул его розгой по спине.

— Ну, и чему же тебя там в школе научили? — спросил батько, когда Гриц в полдень вернулся домой.

— Мы учили «а баба галамага», — ответил Гриц.

— А ты умел? — спросил батько, не входя в то, что это за такая диковинная наука.

— Да уз умел, — ответил Гриц.

— Ну, и дальше так учись! — похвалил батько. — Как тут в селе выучишься, пойдешь в город в большую школу, а потом выйдешь в попы. Жинка, а дай-ка ему еще поесть.

— Ба, — ответил Гриц.

IV

Прошел ровно год с того важного дня. Надежды отца на блестящее будущее Грица давно развеялись. Учитель прямо сказал ему, что Гриц — «набитый болван» и что отец лучше сделает, если заберет его назад домой и заставит гусей пасти. И действительно, после года школьной науки Гриц возвращался домой таким же умным, как был год назад. Правда, «а баба галамага» он выучил

крепко наизусть, и часто даже во сне с его уст слетало это диковинное слово, составлявшее как бы порог всякой мудрости, которого ему не суждено было переступить.

Но дальше этого слова Гриц в науке не продвинулся. Буквы как-то путались перед его глазами, и он никогда не мог узнать их в лицо — которая «ш», а которая «т», которая «люди», а которая «мыслете».

О чтении уже нечего и говорить. Была ли причина этого в его непонятливости, или в плохом преподавании учителя, неизвестно; верно лишь то, что, кроме Грица, таких «набитых болванов» среди школьников в том году было восемнадцать из тридцати, и все они как один в течение того школьного года жили прекрасной надеждой на то, как будет чудесно, когда они освободятся от ежедневных розог, подзатыльников, тумачков, оплеух и головомоек и вновь появятся в полном блеске и величии на своем пастбище.

А уж кто-кто, а Гриц наверняка больше и чаще всех об этом думал. Проклятый букварь, который он за год работы над научными вопросами изорвал и искрошил чуть ли не в сечку, проклятое «а баба галамага» и проклятые учительские понукания и «поощрения» к науке так надоели ему, что он даже похудел и побледнел и ходил все время как во сне. Наконец бог смилостивился и послал месяц июль. Батько тоже смилостивился и сказал однажды утром:

— Гриц!

— Га? — сказал Гриц.

— С нынешнего дня ты уже не будешь ходить в школу.

— Ба, — сказал Гриц.

— Сними сапоги, шляпу и ремень — надо их убрать для воскресенья, — а ты подвяжись лычком, возьми лопух на голову да беги гусей пасти.

— Ба! — сказал радостно Гриц.

Гуси, конечно, — глупые гуси и на этот раз не знали о радостной перемене, которая их ожидала.

Весь год школьной науки Грица их пас маленький соседский мальчик Лучка, который, конечно, только и делал на пастбище что копал ямки, лепил пирожки из грязи и обсыпался пылью. О гусях он совсем не заботился, и они паслись сами.

Не раз им случалось забрести в овес, и тогда им приходилось переносить от потерпевшего много проклятий и даже побоев. К тому же несчастье в тот год несколько раз зловещим крылом коснулось стада. Пять молодых гусей и десять гусынь хозяйка продала в городе; тяжело было остальным разлучаться с ними. Старую серую гусыню убил хворостиной за потраву сосед и с варварской жестокостью, привязав бездушный труп за лапку к той же хворостине, волок его так через все пастбище, а потом закинул хозяину на сарай. А одного молодого гусака, красу и гордость стада, убил коршун, когда тот однажды отбился от своей родни. Но все же, несмотря на все эти тяжелые и незаменимые утраты, стадо в этом году было больше, чем в прошлом. Благодаря белому гусаку и сизой гусыне да еще двум или трем их дочкам стадо в этом году выросло до сорока с лишним штук.

Когда Гриц появился среди них с прутом, знаком своей наместнической власти, сразу все глаза обратились на него, и было слышно лишь тихое изумленное шипение. Но ни белый гусак, ни сизая гусыня не забыли еще своего прежнего доброго пастыря. С громкими криками радости, хлопая крыльями, они бросились к нему.

— Где-где-где? — лопотала сизая гусыня.

— Вот же в сколе был, — гордо ответил Гриц.

— Ох! Ох! Ох! — дивился белый гусак.

— Не велис, дулень? — крикнул на него Гриц и хлопнул его прутом.

— А сьто-сьто-сьто? А сьто-сьто-сьто? — лопотали, собираясь вокруг него, другие гуси.

— Это сто я выучил-то? — сформулировал их вопрос Гриц.

— Сьто-сьто-сьто? — галдели гуси.

— А баба галамага, — ответил Гриц.

Снова изумленное шипение, как будто ни одна из этих сорока гусиных голов не могла понять такой глубокой мудрости. Гриц стоял гордый, недостижимый.

И вдруг белый гусак взял слово:

— А баба галамага! А баба галамага! — закричал он своим громким металлическим голосом, выпрямившись, высоко подняв голову и хлопая крыльями.

А потом, обращаясь к Грицу, прибавил, как будто затем, чтобы еще больше пристыдить его:

— А кши, а кши!

Гриц был сломлен, посрамлен. Гусак в одну минуту перенял и повторил ту мудрость, которая стоила ему года ученья!

«И почему они его в сколу не отдали?» подумал Гриц и погнал гусей на луг.



КАРАНДАШ

Прошу ни за что на свете не думать, что я рассказываю вам какую-нибудь выдумку. Нет, речь в самом деле идет о карандаше, да еще не о целом, а о кусочке — так дюйма в три длиной. А если кто скажет, что в три с половиной, я тоже не пойду с ним к войту¹ судиться. Но я уж наверное знаю, что четырех-то дюймов в нем не было. Это я мог бы, как говорят юристы, подтвердить под присягой или, как говорят наши ясеничане, «побожиться и поклясться на чем свет стоит».

Три с половиной дюйма длиной, не больше, был герой этой повести.

Немало лет прошло с тех пор, как мы виделись с ним в последний раз, то есть как я его видел, так как он своим очиненным носиком вряд ли мог меня видеть; да притом он целых полтора дня лежал в моей школьной сумке — в крошечной тьме. Чтoб не соврать, с тех пор прошло не меньше шестнадцати лет — довольно времени как будто, чтобы забыть и какого-нибудь настоящего дру-

¹ Войт — староста.

га. А я не забыл его, этот небольшой кусочек карандаша в оправе из темнокрасного дерева, шестигранный, покрытый желтым лаком, с серебряной вдавленной надписью «Mittel» на тупом конце; с другого конца он был очинен не слишком остро и не слишком тупо — как раз так, как нужно деревенскому школьнику.

В таком виде лежал он однажды зимним утром на снегу во дворе ясеницкой школы, как раз возле дорожки, которую протоптали школьники. Это было чудесное ясное утро. Мороз трещал бешеный; в воздухе носились мелкие, совсем прозрачные снежинки, заметные только по бриллиантовому блеску, который зажигали в них солнечные лучи. Карандаш не застрял в замерзшем искристом снегу, а лежал совсем сверху. Его желтый лак блестел на солнце, а серебряная надпись «Mittel» виднелась издалека. Верно, кто-нибудь из школьников потерял его.

Он и лежал так, вытянув свой черный заостренный носик к стенам школы, будто старался указать каждому прохожему, что там его настоящее место, будто просил своим серебряным взглядом, чтоб его взяли из этой, хотя и прелестной, но очень холодной постели и отнесли туда, в школу, откуда далеко по селу разносился шум ребят, ожидавших пана профессора.

Скажите же теперь сами по совести, что бы вы сделали, если бы вам случилось увидеть такой «Mittel», и притом в эдаком не совсем соответствующем его «чину» положении?

Я думаю, что девяносто процентов из вас, не подозревая в нем героя не только повести, но даже газетной заметки или маленького объявления, подняли бы его и просто спрятали в карман. Другие десять процентов, наверно, даже не нагнулись бы за ним.

Я, сказать по правде, принадлежал к этим девяноста процентам. Не подозревая в карандаше ничего дурного, я поднял его и, не имея кармана, положил в кожаную школьную сумку, где лежали мои книжки.

Я был бедным деревенским мальчиком, у меня еще никогда в жизни не было карандаша, и я всегда должен был

писать этим проклятушим гусиным пером, которое так страшно капало, брызгало и скрипело под нажимом моей руки. А теперь я вдруг нашел карандаш! Да еще какой красивый! Правда, я видел его лишь один миг, еще когда он лежал на снегу, а потом, схватив рукой, быстро сунул в сумку, будто боялся, как бы солнце, которое так ярко светило, не украло его у меня из рук.

И еще другая интересная штука: при всей этой операции мне и в голову не пришло, чтобы школьник мог его потерять, — слышите — даже в голову мне не пришло!

Ну что вы! Какой же тут у нас школьник теряет карандаши! Это, должно быть, бог знает какой незнакомый пан приезжал к пану профессору, ну и, наверно, это он как-нибудь странным образом потерял этот карандаш. А может быть, это был еврей-торговец, которому учитель в прошлом году продал корову. Может быть, этот карандаш лежал тут еще с прошлого года и никто его, бедного, не видел. А может быть, он упал ночью с неба вместе со снегом.

Вот ведь бабуня рассказывала, что часто лягушки падают с неба, почему же бы и карандашам не падать?

Так рассуждал я, направляясь через двор в школу. Что же, разве шестилетнему мальчику нельзя так рассуждать? А ведь нет! Мне очень понравился этот карандаш. Я держал руку в сумке, а он был у меня в руке; я поворачивал его гранями туда и сюда, старался угадать его толщину, восстановить перед своими глазами его образ, — одним словом, моя фантазия, как мотылек вокруг цветка, неустанно кружилась и порхала вокруг карандаша. Она насильно отгоняла всякую мысль о том, что карандаш может принадлежать кому-нибудь из школьников и что, значит, мне придется возвратить его хозяину.

В классе уже было много школьников. Некоторые сидели на лавках и долбили заданный урок, по временам боязливо поглядывая на дверь, не идет ли учитель. Другие, похрабрее, ходили по классу, дрались, толкались между лавками. Малевали на доске мелом каких-то уродов и потом быстро стирали их мокрой тряпкой, служившей вме-

сто губки. О карандаше никто не спрашивал. Это меня очень обрадовало, и я быстренько, будто крадучись, юркнул на вторую лавку и сел на свое обычное место. Вынимая книжку, нужную для первого урока, я услышал в сумке стук карандаша о кожу и весь задрожал — не знаю, то ли от радости, то ли от какой-то неясной тревоги. Вот и учитель пришел. Началось ученье. Ничего. Вот и урок кончился, учитель вышел, опять поднялся крик и шум — о карандаше никто ни слова! Я сижу, оглядываюсь вокруг и дрожу, как вор над краденым добром, боясь, что вот подойдет кто-нибудь и потребует у меня карандаш.

Но никто не требует карандаша. Школьники ходят и учатся, шалят и толкаются попрежнему.

Степан Лесков, мой хороший знакомый, приближается ко мне.

— Ой, ты, видно, арифметики нынче не знаешь, то-то зададут тебе трепку! А уж если учитель мне прикажет бить, ну, тогда только держись, бедняга!

Что за озорник этот Степан!

Он знает, что арифметика — моя слабая сторона, и любит всегда подразнить меня. Но я хорошо знаю, что он только шутит; а к тому же сегодня я не боюсь учителя, потому что арифметику (писать числа до ста) я выучил.

О, еще и как выучил! А кто вчера целый день писал пальцем цифры на стеклах густо запотевших окон?

— Ну-ну, ты не очень-то заботься о моей арифметике, — ответил я Степану. — Смотри, чтобы тебе самому не попало.

Чудеса! Чудеса, да и только! Я хотел ответить Степану тоже шутливо, с улыбкой, ласково, а ответил так как-то злобно, резко, таким сердитым голосом, что аж самому гадко стало. Я почувствовал даже, что все лицо у меня налилось кровью.

Степан постоял минуту передо мной, не говоря ни слова больше, поглядел на меня изумленными глазами, а потом отошел, видимо огорченный тем, что обидел меня своей шуткой. Он так меня любил, этот тихий, ласковый, услужливый и добрый мальчик! За что я так резко отве-

тил ему? За что огорчил я его? Ведь он говорил в шутку, и у меня не было никакой причины сердиться на него.

Такие мысли бродили у меня в голове, когда Степан отошел и молча сел на свою лавку. Степан был небольшой светловолосый мальчик лет восьми. Его отец, бедный крестьянин, жил по соседству с моим дядей, у которого я жил, и мы дружили между собой. Отец Степана, говорят, раньше был богатым человеком, но большой пожар и всякие другие несчастья разорили его хозяйство. Это был высокий, сильный человек с угрюмым лицом, всегда опущенной головой и грубым, резким голосом. Я невольно как-то боялся его и считал жестоким человеком. Но маленький Степан был весь в мать, тихую, ласковую женщину с еще красивым, добродушным лицом и ясными серыми глазами. Поэтому я часто стоял на посту за забором, подстерегая, когда старый Лесков уйдет из хаты, чтобы хоть на минутку забежать к Степану поиграть с ним. Правда, мы часто ссорились, как все дети, но не надолго. Я, более горячий, легкий на ссору, а то и на драку, обычно первый шел и мириться. А Степан, всегда ровный, усмехался так мило, будто хотел сказать: «А видишь, я давно знал, что ты не выдержишь без меня!»

Но сейчас — за что я сейчас рассердился на Степана? Да нет, я хорошо чувствовал, что даже совсем и не рассердился на него. Напротив, его жалобный, грустный взгляд причинял мне боль. Я стыдился чего-то, сам не зная чего, и даже забыл о карандаше. Но когда впечатление остыло, прошло, а перед собой я увидел сумку, в которой мои нервы как будто издали чувствовали прикосновение карандаша, тогда моя фантазия возвратилась к нему, и вскоре про Степана и его грустный взгляд я совершенно забыл.

Снова вошел учитель, начался урок и прошел. О карандаше никто ни гу-гу.

Третьим уроком должна была быть арифметика. Обучение этой великой и страшной науке совершалось таким образом: учитель вызывал к доске кого-нибудь из учеников и велел ему писать мелом цифры, а все остальные

34859

мальчики должны были эти самые цифры писать в своих тетрадах. Учитель все время ходил вдоль скамеек, заглядывая в тетрадки, все ли пишут и так ли пишут, как следует.

Перед уроком арифметики я услышал в последнем ряду, где сидел Степан, какой-то шум, какие-то тревожные, отрывистые вопросы и ответы, но в общем гаме не мог разобрать, что там такое. Но все же меня что-то кольнуло, какое-то беспокойство пробудилось во мне. Я подумал: «Не буду сейчас вынимать карандаш, буду писать, как обычно, пером, хоть оно мне так опротивело».

Вот и учитель вошел. Передохнув минутку у стола, он встал и вызвал меня к доске. Я вышел испуганный, дрожащий, так как писание цифр, букв вообще было для меня твердым орехом. Всякие знаки выходили из моих рук кривыми, скрюченными, уродливыми, так что обычно походили на старый плетень, у которого каждый кол стремится в другую сторону, а поперечные хворостины торчат сами по себе и не могут встретиться с колами. Но что было делать: вызывает учитель — надо итти. Я стал около доски и взял в правую руку тряпку, а в левую мел.

— Тридцать пять! — крикнул учитель и оглянулся на меня. — Ах ты, болван, как ты мел держишь? Левшой будешь писать, да?

Я переменял в обеих руках несчастные орудия премудрости, потом поднял правую как мог выше и едва достал до половины доски.

Задача написать на доске число 35 была очень трудной, так как приходилось писать самые «крученые» цифры. Вчера, упражняясь пальцем на стеклах в писании цифр, я долго думал, как бы написать эту проклятую тройку так, чтобы сделать ее такой кругленькой и с таким зубчиком посредине. Спросить было не у кого, и я решил писать ее с середины, от зубчика, протянуть оттуда сперва верхний, а потом нижний каблучок. Так я научился писать дома и так же взялся теперь дрожащей рукой царапать на доске. А тут еще, как назло, рука трясется, сила, которой и так не много было, куда-то совсем пропала, так

что как я ни стараюсь прижимать мел к доске, а проклятые штрихи все выходят такие худые да тонкие, что их едва видно. С великим трудом я нарисовал тройку.

— А что, уже? — кричит учитель и оборачивается ко мне.

— Еще... еще нет, — отвечаю я и, обливаясь холодным потом, принимаюсь писать 5, разумеется опять по собственному методу, то есть начиная снизу.

— Что, что, что? — вскрикнул учитель и подбежал ко мне. — Как ты пишешь, как?

Я молчал. Дрожащая рука дотянула штрих на доске. Пятерка была скорее похожа на Г, чем на круглобрюхое, гребнястое 5.

— Ах ты, свинячий приплод! (Обычный титул, которым учитель величал школьников.) Так ты не знаешь, как пишется пять?

И, не ожидая ответа на этот вопрос, учитель одной рукой ухватил со стола широкую линейку, а другой мою руку, из которой вылетел мел, и громкий шлепок раздался в классе. Моя ладонь налилась кровью и стала как будто толще, а под кожей словно мурашки забегали.

Я, сызмалу выносливый к боли, не заплакал, только скривился.

— Так ты не знаешь, как пять писать? Не видал, как я писал? Вот смотри, как пишется пять, — вот так!

И пан профессор схватил мел и с размаху написал сначала на доске огромную пятерку, а потом на моем лице такую же самую (может быть, только не такую правильную и четкую) огромную пятерку.

— Пиши дальше, — крикнул он мне. — Сорок восемь!

Я взял мел и начал писать. Учитель смотрел еще минуту. Четверка удовлетворила его, и он опять стал ходить между скамейками.

— Почему не пишете? — крикнул он грозно ребятам, которые кто с усмешкой, а кто с испугом глядели на то, что творилось у доски.

На окрик учителя все головы склонились вниз, как рожь клонится от ветра, опуская к земле тяжелый колос.

— А ты, староста, как три написал? — спрашивает учитель одного. Вместо ответа, вместо объяснения удар линейкой по лапе.

— А это что над пятеркой? — спрашивает другого.

— Капнуло с пера.

Опять удар линейкой.

— А ты, сват, почему не пишешь? — спрашивает третьего.

— Да я, па...пане профессор... — слышится сквозь слезы голос Степана Лескова.

— Что? — кричит учитель сердито.

— Я где-то карандаш потерял.

В этот момент из моей руки неизвестно почему выпал мел. Повторяю еще раз: неизвестно почему, ведь я был уверен, что карандаш, лежащий теперь спокойно в моей сумке, не принадлежит Степану. Ни за что на свете! А все же при этих его словах я так испугался, рука моя так затряслась, что мел, как угорь, выскользнул из моих рук.

Мое счастье, что заданное число уже было написано, — теперь я не смог бы написать его.

— Так, — крикнул учитель, — потерял! Постой-ка, я научу тебя!

Чему, собственно, учитель хотел научить Степана, кто его знает! Мы, школьники, знали только, что он две недели назад очень поссорился с отцом Степана и, видно, искал лишь предлога, чтобы за отца отомстить мальчику. А кроме того, мы видели, что учитель сегодня немного пьян, а значит, без драки не обойдется.

— Марш на середину! — крикнул он Степану.

Бедный мальчик, верно, знал, что его ждет, и не очень торопился. Учитель ухватил его за длинные светлые волосы и выволок на середину.

— Тут стой! А ты, — обернулся он ко мне, — написал уже?

— Написал.

— Садись! А ты иди к доске!

При этих словах учитель толкнул Степана. Я как-то легче вздохнул, потому что сам сидел на безопасном ме-

сте, а еще потому, что думал — Степану уже ничего не будет за карандаш, если учитель послал его к доске, — я знал, что писать-то Степан умеет. Только слыша, каким сердитым голосом диктовал учитель Степану цифры, как он злился, видя, что Степан пишет правильно, я чего-то опасался. Мне было так тяжело, будто что-то шептало мне внутри, что если со Степаном случится что-то дурное из-за карандаша, то в этом будет и моя вина. Каким образом такие странные мысли сплетались в моей голове, не знаю, но знаю наверное, что я дрожал, как осиновый лист.

Степан пишет цифры и пишет, уже исписал всю доску. Учитель все время смотрит на него, чтобы поймать его на чем-нибудь. Но нет.

— Довольно! — кричит он. — А теперь ложись!

— Да за что, пане профессор? — говорит Степан.

— Что?! За что? Ты еще спрашиваешь? Сейчас же ложись!

Мне будто что-то горло сдавило, когда я услышал эти слова.

Учитель ищет розгу в последней парте, а бедный Степан, бледный, дрожащий, стоит у доски и мнет тряпку в руках.

— Да за что вы меня, пане профессор, бить хотите? — еще раз спрашивает Степан сквозь слезы, видя приближающегося с розгой в руках учителя.

— Ложись! — крикнул тот и, не ожидая больше, схватил Степана за волосы, повалил его на стул и начал изо всей силы хлестать розгой.

Степан закричал от боли, но крик, кажется, только больше дразнил опьяневшего учителя.

— Чтобы ты знал в другой раз, как карандаши терять! — кричал он, задыхаясь, прерывающимся голосом, и розга свистела все сильнее, обвивая тело бедного Степана.

Что творилось со мной в эти долгие, страшно тяжелые минуты? Первой мыслью, которая мгновенно мелькнула у меня в голове, было встать и сказать, что во всем виноват я, что карандаш Степана у меня, что я нашел его и не от-



— Да за что вы меня, пане профессор, бить хотите?

дал. Но страх перед свистом розги насильно прижал меня к месту, опутал мой язык, стиснул горло, как железными клещами. Крик Степана проникал в мою грудь, я весь обливался холодным потом, я ясно чувствовал боль, острую боль от розги, я чувствовал ее во всем теле и так живо, что все мои мускулы невольно сжимались и дрожали, а в горле что-то всхлипывало громко, на весь класс. Но тревога так сковала всех, что, несмотря на гробовую тишину, никто в классе не слышал моих рыданий.

А учитель все не переставал бить. Бедный Степан уже охрип, его лицо посинело от напряжения, пальцы судорожно впились в колени учителя, ноги болтались в воздухе, но розга не переставала свистать, и каждый ее свист, каждый удар о грубую полотняную сорочку Степана сотрясал и сдавливал тридцать детских сердец, вырывал новый крик отчаяния и боли из груди Степана.

Я не помню уже и не хочу вспоминать, что делалось со мной в эти ужасные минуты, какие ощущения охватывали мое тело, какая боль пронизывала суставы, какие мысли мелькали в моей голове. Да мыслей и не было никаких! Я сидел холодный, бесчувственный, как камень! И теперь еще, через шестнадцать лет, когда я вспоминаю эту минуту, мне кажется, что она на долгое время оглушила меня, как удар камнем по темени, и что если бы в моем детстве было много таких минут, из меня вышел бы такой же болван, как те сотни, которых мы видим в каждой начальной школе нашего края, как те несчастные, забитые физически и духовно дети, нервы которых сызмала притуплены страшными, отвратительными сценами, а голова с шести лет одурманена учительской дисциплиной.

Наконец свист розги утих. Учитель выпустил Степана, и тот, обессиленный, измученный, покатился на пол. Учитель, красный как свекла, бросил розгу и сел на стул, с которого только что скатился Степан. Минуту он дышал, не говоря ни слова. Во всем классе было тихо, мертво, сумрачно. Слышно было лишь, как хрипел бедный мальчик, судорожно всхлипывая.

— Ты не встанешь? — прошипел учитель, толкая его ногой в бок.

Степан немного спустя едва-едва поднялся на ноги и встал, держась рукой за скамейку.

— Марш на место! И помни другой раз, как карандаши терять!

Степан пошел на место. В классе опять стало тихо. Учитель, видно, протрезвился немного и почувствовал, что плохо сделал, избив так мальчика. Он знал, что с Лесковым связываться опасно. Мысль об этом еще сильнее раздражала его. Он вскочил и стал молча бегать по классу, тяжело дыша.

— А, негодяи, разбойники! — закричал он, неизвестно, на нас или на отсутствующих ясенецких граждан.

Долго бегают учитель по классу, сопит и бормочет что-то себе под нос, а потом оборачивается к нам и кричит:

— По домам!

Но и это обычно столь чудодейственное слово, оповещающее нас об освобождении хоть на день от тягот школьной премудрости, теперь было обращено будто к глухим.

Тревога и неуверенность оглушили всех школьников и лишили их слуха. Потребовался второй, более громкий окрик учителя, чтобы все встали на молитву. Когда после молитвы школьники поднялись со скамеек и стали выходить из класса, это делалось без обычного шума и толкотни; все шло медленно, боязливо поглядывая на учителя, который стоял у столика, пока все мальчики не вышли.

Каждый чувствовал себя как пришибленный. Степан шел всхлипывая, а когда уже около дверей взглянул на учителя, тот погрозил ему кулаком. Я шел почти самый последний, едва передвигая ноги. Я боялся и стыдился чего-то так страшно, что рад был бы в эту минуту провалиться сквозь землю. Не знаю, вероятно разбойник после совершённого убийства чувствует на сердце такую тяжесть, какую чувствовал тогда я. На Степана я прямо не мог посмотреть ни за что на свете. Я так

живо представлял себе его боль, — нет, я страдал не меньше его, — а тут еще этот проклятый внутренний голос, который теперь все время шептал мне, что он пострадал из-за меня, что карандаш — его! Да, теперь уже что-то ясно твердило мне, что это его карандаш я нашел. И чего бы, кажется, в таком случае проще, как подойти теперь к нему и отдать потерю. Не так ли? Так нет! Оно и хорошо бы, кажется, но тогда мне, пришибленному зараз и страхом, и жалостью, и стыдом, совершенно невозможно было сделать это. И не то что бы я еще теперь мечтал сохранить этот карандаш для себя — что вы! Он теперь, как камень, оттягивал мою сумку, издали обжигал мою руку. Я теперь ни за что на свете не прикоснулся бы к нему, не взглянул бы на него! Вот если бы кто-нибудь силой вырвал у меня сумку и вытряхнул из нее все так, чтобы и карандаш выпал, а Степан тогда мог бы его взять, — ах, как я был бы рад! Но этого не случилось, да и не до того было школьникам.

Выйдя из класса и из двора, все сразу обступили всё еще всхлипывавшего Степана и стали его расспрашивать, как и где потерял он карандаш и какой это был карандаш; некоторые громко ругали учителя, другие жалели Степана и говорили ему, чтобы он непременно пожаловался тятеньке.

— Разве я знаю, где я потерял? — всхлипывал Степан. — А что мне теперь тятенька скажет! Только что, позавчера, купили мне в городе, а я потерял. Ой-ой-ой! — заплакал бедный мальчик.

Он боялся отца не меньше, чем учителя.

— Да не плачь, глупый, не бойся, — утешали его мальчики, хотя, наверно, ни один из них не хотел бы очутиться в его шкуре.

— Ага, не плачь! — мрачно ответил Степан. — Да они меня убьют за карандаш! Шесть крейцеров, говорят, они заплатили за него в городе... «А если, — говорят, — ты у меня его потеряешь, так шкура не твоя, слышишь?» Ой-ой-ой!

Я не мог слушать этого разговора. Каждое слово Сте-

пана кололо меня, как репейник. Я скорей побежал домой, дрожащий, бледный, задыхающийся.

— О, ты уж, верно, опять дрался где-то с мальчишками, — крикнула при виде меня тетка, — что приходишь такой загнанный, прямо как гончий пес! Ах ты, оболтус, негодник, бездельник, бродяга ты бездомный!

Тетка была еще девушка, лет двадцати с гаком. Она была «очень хорошая», — во всяком случае, это можно было сказать об ее языке, который не любил никогда «даром хлеб есть» и у которого никогда не было недостатка в словах.

Я повесил сумку с книжками на гвоздь и сел есть, не говоря ни слова. Потом сел у стола и взял книжку — не затем, чтобы учить то, что на завтра было задано: не до ученья мне было. Я сидел над книжкой, как пень, и в сотый раз читал все одни и те же слова, не понимая, что читаю и к чему это. Я старался не думать о Степане, об учителе и о старом Лескове, но их лица всё вспоминались мне, пронизывали меня холодом, мучили и беспокоили, как грешника беспокоят воспоминания о прежних грехах. Мне так хотелось, чтобы скорей настал вечер, но вечер, как заклятый, не приходил. Я боялся взглянуть на сумку с карандашом, как будто это была не сумка, а страшная нора, и не карандаш, а змея.

Как я измучился, пока настал вечер, не буду рассказывать. Какие страшные сны снились мне ночью, как я кричал, будто бы убегал, прятался, как за мной бегали и летали ящерицы с острой мордочкой и крупной надписью «Mittel» на спине, как меня колол терновник с желтой блестящей корой и шестигранными шипами, очиненными на конце, — все это пусть тоже потонет во мраке забвения. Довольно того, что утром я встал как избитый или сваренный в чугуне, а тетка впридачу обругала меня за то, что я всю ночь метался, кричал и не давал ей спать.

Утром, прежде чем я ушел в школу, приходит из села дядя и, скинув с рук толстые суконные рукавицы, начинает рассказывать разные сельские новости.

— А за что это вчера учитель так Лескова Степана избил? — вдруг спрашивает он меня.

Этот вопрос страшно испугал меня, как будто меня вдруг кипятком облили.

— Да... да... да говорит, что где-то по...по...по...

— Что ты, говорить не умеешь, что ли? — крикнула тетка. — Ну, и что там такого случилось со Степаном? — спросила она дядю.

— Да его так там вчера учитель избил за какой-то карандаш, что он чуть живой домой приполз.

— Да какой карандаш?

— А вот, купил ему отец в понедельник карандаш, а он вчера потерял. Учитель пьяный — и ну парня бить, будто он виноват. Понимаете, едва бедный мальчонка домой дополз. А тут еще пришел да и рассказывает, а старый медведь взбесился и давай колотить ребенка! За волосы да под ноги, да каблуками! Прямо страх! Старуха плачет, кричит, парень сомлеет, едва водой отлили, теперь, говорят, лежит, шевельнуться не может... Чтобы так над ребенком издеваться!..

Дядя еще не кончил, как я вдруг расплакался и прервал его рассказ.

— А ты чего? — спросил дядя удивленно.

— Одурел ты, что ли? — крикнула тетка.

— Я... я... я... — пролепетал я с плачем, но рыдания не дали мне докончить.

— Ну что, что? Говори! — сказал дядя ласково.

— Я... нашел... этот карандаш!

— Нашел? Где? Когда?

— Вчера, перед школой на снегу, — проговорил я уже смелее.

— Ну, и почему ты не отдал его Степану?

— Я не знал, что это его, а он не спрашивал.

— А потом, после школы?

— Я... я боялся.

— Боялся? Да какого же чорта лысого? — спросила тетка, но я ничего не ответил на этот вопрос.

— Ну, и где же этот карандаш?

— Да в сумке.

Дядя заглянул в сумку и вынул несчастный карандаш. Я не смел взглянуть на него.

— Ну смотрите, люди добрые, из-за такой дряни так парня избили! А пропади они все пропадом!

Дядя плюнул и вышел, захватив с собой карандаш. Меня тетка прогнала в школу. Я всхлипывал всю дорогу, и слезы невольно текли у меня по лицу, хотя на душе стало гораздо легче.

В этот день и всю следующую неделю Степан не приходил в школу — лежал больной.

А на следующей неделе чего-то вдруг заболел учитель: дядя догадался, что, наверно, это старый Лесков хорошенько «обмолотил» его.

Так ли это на самом деле было, или нет, этого мне точно не пришлось узнать.



К СВЕТУ!

(Рассказ арестанта)

I

Грустные, безотрадные мысли терзали мой мозг в долгие-долгие ночи и дни, прожитые в тюрьме. Мои товарищи по несчастью, которых, как и меня, сверлило и мутило внутри, не могли найти для меня слов утешения; напротив, я видел, что сами они часто гораздо больше, чем я, нуждались в исцеляющем слове. Чтобы не одуреть среди этого наплыва горя, мы разговаривали, рассказывали друг другу — не о себе, а о других. Один из таких рассказов, сильнее других поразивший меня, я передаю читателям. Тот, кто мне рассказал его, был еще молодой парень, полный сил и отваги, не лишенный хорошего, подлинного человеческого чутья, воспитанный по-городскому. Он окончил народную школу, обучился ремеслу, одним словом, немало сил затратил, чтобы выкарабкаться наверх, выйти в люди. Ну, а вышел... и... Да не о том речь!

Уже в шестой раз сидел он под замком и знал всю арестантскую практику — чуть ли не всю историю каждой камеры: кто в ней сидел, за что, на сколько был осужден, как обращались с арестантами раньше и как теперь, и т.п. Это была настоящая арестантская летопись. Надзиратели считали его неисправимым буяном и давали ему это почувствовать частыми дисциплинарными взысканиями. Но он не унимался и вспыхивал, как порох, если только замечал, что что-нибудь делается не так, как должно, что в чем-нибудь обижают арестантов. Особенно часто у него бывали столкновения с часовым, который ходил под окнами тюрьмы и следил за тем, чтобы арестанты не выглядывали в окна и не разговаривали друг с другом. Нескольким раз солдат грозил ему, что будет стрелять, если он не отойдет от окна, но он сидел спокойно, ничего не отвечая, и только когда часовой щелкал затвором винтовки, соскакивал с окна и кричал:

— А ну, а ну, я же знаю, что ты не имеешь права стрелять!

— А откуда вы это знаете? — спросил я однажды.

— Как это откуда знаю! Я сам был свидетелем, сам видел!

— Что видели?

— Э, это была целая история, после нее часовым запретили стрелять! Вот я лучше вам расскажу...

- II

— Это было два года тому назад, — начал он, — как раз два года. Сидел я тогда вот в этой дыре под следствием. Было нас в камере только двое: я да какой-то панок, Журковский его звали. Кто он такой был и за что сюда попал, я уж и не припомню.

И вот раз как-то вечером мы разделись и спать улеглись, вдруг слышим шаги надзирателя и громкий звон ключей от замков. Наконец он отпер, впустив в камеру сноп желтого света от своего фонаря, и, показав нам в

этом свете какую-то скорчившуюся полуголую, жалкую фигурку, подтолкнул ее вперед и втолкнул в камеру, так как сама она, видно, не могла так быстро двигаться.

— Вот тебе одеяло и простыня! — крикнул он, швырнув вещи фигурке на голову и пригнув ее этим чуть не до земли. — Ложись и спи. Миску получишь завтра.

Сказав это, надзиратель запер дверь и ушел. В камере стало темно, как в погребе, и тихо, как в могиле. Только вдруг слышим, будто кто-то секачом мясо на доске сечет, — это наш товарищ зубами стучит. Понимаете, осень уже была поздняя и холод такой, что и не расскажешь.

— Кто ты такой? — спрашиваю окоченевшего товарища, не вставая с постели.

Я уже согрелся, и мне не хотелось вставать. В камере было довольно-таки холодно, потому что окно должно было день и ночь стоять открытым из-за духоты.

Товарищ наш молчит, только еще сильнее стучит зубами, и сквозь этот стук слышны тихие всхлипывания. Жаль мне стало хлопца, потому что я уже догадался, что это какой-то совсем еще зеленый, «пижон». Вот я встал и постелил ему ошупью постель.

— Ну-ну, — говорю, — будет, тихо, не плачь! Раздевайся да ложись спать!

— Не... не... мо...гу, — едва пролепетал он.

— Почему?

— Я о...чень за...мерз.

Я к нему, а он весь как кость, — замерз, ни рукой, ни ногой двинуть не может. Каким чудом он пришел в камеру, непонятно. Встал и панок, снимали мы с него лохмотья и раздели его совсем догола, растерли хорошенько, завернули в простыню и в одеяло и положили на койку.

Через каких-нибудь четверть часа слышу — утихает, возвращается.

— А что, лучше тебе? — спрашиваю.

— Лучше.

— Отошли руки и ноги?

— Еще не совсем, а все-таки лучше.

— А откуда ты?

— Из Смерекова.

— Так тебя, верно, жандарм привел?

— А как же! Гнал он меня сегодня с утра почти что голого и босого по морозу. Десять раз я падал по дороге, не мог итти. Он меня ремнем бил, и я опять шел. Только в корчме, в Збонсках, мы немножко передохнули.

— А как же тебя звать?

— Иоська Штерн.

— А! Так ты еврей?

— А как же, еврей.

— Ах, чтоб тебя черти взяли! Хоть убей, никогда бы я по разговору не догадался, что ты еврей, так чисто ты по-нашему говоришь.

— Да что же, пане, я вырос в деревне, среди мужиков. Я пастухом был...

— А сколько тебе лет?

— Шестнадцать.

— За что же тебя сюда, в тюрьму, притащили?

— Ой, пане, я не знаю. Жандарм говорил, что мой хозяин пожаловался на меня за кражу со взломом, а я, ей-богу, ничего не ломал... Только свои бумаги¹, ей-богу только свои бумаги...

И он стал всхлипывать, как ребенок.

— Ну-ну, ладно, глупый, — говорю, — скажешь все это завтра судье, а меня это совсем не касается. Спи теперь.

— Ой, пане, а жандарм сказал, что меня за это повесят! — снова начал Иоська.

— Да ты одурел, глупый?! — крикнул я. — Смешно слушать! Где же ты слышал, чтоб за такие пустяки вешали?

— А мой хозяин сказал, что меня упрячут на десять лет в тюрьму.

— Ну, не унывай, — говорю, — как-нибудь это уладится. Только усни теперь, а завтра днем поговорим.

Умолкли мы, и вскоре я захрапел. Только и радости у меня в тюрьме, что я сплю, как заяц в капусте.

¹ Б у м а г и — документы.

III

Только на другой день мы смогли хорошенько разглядеть новичка. Мне даже смешно стало, как я мог вчера не узнать в нем еврея. Рыжий, с пейсами, нос изогнутый, как у старого ястреба, весь скрюченный, хоть для своих лет вовсе не шуплый и хорошего роста.

А вчера, когда мы его растирали впотьмах и слушали его бормотанье, совсем нельзя было догадаться, что он еврей.

А он со страхом озирался, как испуганная белка. Вскочил, когда мы оба с паном еще лежали, умылся, застелил свою постель и уселся на ней в уголке и застыл, как заколдованный.

— А что, ты не голоден? — спрашиваю.

Молчит, только как-то еще больше скорчился.

— Ел ты что-нибудь вчера? — спрашивает пан.

— Да... вчера... как жандарму меня вести, войтиха дала мне немножко борща и кусочек хлеба.

— Ага, мы уже понимаем, — усмехнулся пан.

Дал он ему позавтракать — порядочный кусок хлеба и вчерашнюю котлету. Аж затрясся весь, бедняга! Хотел как-то благодарить, но только слезы ему на глаза навернулись.

И понимаете, еще одна неожиданность в этом мальчонке! Тихий, послушный, без малейшей тени хвастливости, не охотник до разговоров, а как бывало велят ему что-нибудь сделать, так проворный, как искра. Было что-то настоящее мужицкое во всей его манере. Когда нечего было делать — а что за работа у нас в камере! — он любил сидеть в уголке молча, скрючившись, обхватив руками колени и опершись на колено подбородком. Только глаза у него блестели из темного угла, как у любопытного мышонка.

— Ну, Расскажи-ка нам: какой это ужасный грабеж ты совершил, что жандарм даже виселицей тебе за него грозил? — спросил его однажды пан, когда мы заметили, что мальчонка уже немножко успокоился и поправился.

— Ой, пане, — сказал Иоська, задрожав всем телом, — долго это рассказывать, а слушать нечего. Такая это глупая история!..

— Ну-ну, рассказывай, послушаем. Тут нам все равно нечего делать. Можно и глупую историю послушать.

— Рос я у Мойши, арендатора корчмы в Смерекове, — начал Иоська. — Сначала я играл вместе с его детьми и называл Мойшу татэ, а Мойшечиху мамэ. Я думал, что они мои родители. Но вскоре я заметил, что Мойша делает своим детям хорошие бекешы, а Мойшечиха дает им каждую пятницу чистые рубашечки, а я ходил грязным и оборванным.

Когда мне исполнилось семь лет, мне велели сторожить гусей, чтобы не было потравы. Мойшечиха не спрашивала, холод ли, дождь ли, или жара, а гнала меня из дому на пастбище и давала все меньше есть. Я терпел голод, не раз плакал в поле, да это не помогало. Деревенские ребята были добрее ко мне — давали мне хлеба, сыру, принимали меня в свои игры. Привык я к ним, а потом стал их выручать — за них гусей пасти. Был я для своих лет крепкий и ловкий, вот деревенские хозяйки и стали доверять мне гусей, а потом телят, когда их детям надо было в школу итти. За это я получал от них хлеба, теплой еды, а иногда в праздники и немного денег. Мойшечиха была очень скупая и радовалась, что я дома есть не просил. Но когда Мойшины дети узнали, что я ем мужицкую еду, они стали дразнить меня, а потом начали меня сторониться. Сначала мне это было безразлично, но вскоре я очень болезненно почувствовал вражду.

Мойша нанял для своих детей учителя, который учил их читать и писать. Это было зимой, так что и я имел свободное время. Но едва я подошел к ним, чтобы тоже поучиться, мальчишки стали кричать, толкать меня, щипать и наконец с плачем заявили матери, что они вместе со мной учиться не будут. Я думаю, она сама подговорила их, потому что уж очень эта ведьма меня ненавидела, хоть и не знаю, за что.

И вот сразу, как только дети подняли крик, она при-

бежала и вышвырнула меня из комнаты, говоря, что наука не для меня и что они бедные и им не на что держать учителей для нищего.

Заплакал я, да что же делать?

Пойду бывало в село, играю с деревенскими ребятами, а то смотрю, как взрослые возятся возле телег, саней или еще чего. Не раз мы целой гурьбой бегали к кузнецу, на край села, и там целыми часами присматривались к работе. А я был самый сильный из всех ребят, и кузнец часто просил меня то в мехи подуть, то молотом ударить, то точило покрутить. Как я тогда бывал счастлив! Как я горячо мечтал, если уж наука не для меня, иметь в руках хоть какое-нибудь ремесло!

Весною я опять возвращался на выгон к гусям и телятам, которых Мойша скупал в окрестных деревнях и, продавав немного, отвозил во Львов на продажу. Смерековский выгон большой, кое-где он порос бурьяном. Сяду я бывало где-нибудь на пригорке, наточу ножик и начну строгать, долбить, вытачивать всякие вещи из дерева: сначала маленькие лесенки, плуги и бороны, потом клетки, мельнички, ветряки. Через год я уже был таким мастером, что все деревенские ребята ничто передо мной. Стал я мастерить трещотки и скрипучие пугала, чтоб гонять воробьев от пшеницы, проса и конопли, и продавал пару таких пугал по десять крейцеров.

Скоро я заработал столько, что смог завести кое-какие столярные инструменты: долота, сверла и т. п. Я брался за все более трудные вещи, потому что была у меня к этому охота. Что ни увижу, сейчас же все хочется самому сделать.

Зимой я просиживал целыми днями то у столяра, то у кузнеца, помогая им и приучаясь к их работе.

Мне уже было шестнадцать лет, а Мойша и не думал что-нибудь со мной делать. Вывел меня в пастухи, и ладно.

Я даже не знал, кто был мой отец и откуда я родом. В деревне знали только, что Мойша привез меня откуда-то маленьким. Был даже слух, что я сын какого-то его

родственника, который оставил порядочное наследство, и что будто бы Мойша все это загреб и присвоил себе.

— Жаль тебя, Иоська, — часто говорили мне мужики. — Такой ты бойкий парень и до ремесла охочий, а что из тебя будет?

— Чему же быть! — отвечал я. — Будет сельский пастух.

— Ой, совести нет у Мойши, что он о тебе не думает!

— Он говорит, что он бедный, что ему не на что, — отвечал я.

— Не верь ты ему, старому цыгану! Есть у него много денег, да он их для своих детей бережет.

Все кипело во мне от этих слов. Стал я думать.

«Правда, — думаю, — до чего я тут досажусь? Работать на Мойшу задаром всю жизнь? Хоть бы ремеслу какому-нибудь порядочному выучиться, тогда был бы хоть свой кусок хлеба в руках. Да как этого добиться? Как освободиться от Мойши? Куда обратиться, когда я даже не знаю, откуда я родом и есть ли у меня где-нибудь родня!»

Наша корчма стояла у дороги. Часто к нам заходили жандармы, которые вели во Львов или в Жолков законных в кандалы арестантов. Сначала я страшно боялся этих громадных, грозных людей в темной одежде, с ружьями на плечах и в шляпах с султаном из блестящих петушиных перьев. С тревогой, дрожа, скорчившись на печке, слушал я не раз, как они разговаривали с Мойшей или с мужиками. Разговаривали обычно о страшных для меня вещах: о пожарах, о ворах, о бродягах, и в этих разговорах я очень часто слышал слово «бумаги». «Если у него бумаг нет, надо тут же его задержать». «Гляжу — эге, а бумаги-то у него не в порядке». «Если б у него хоть одна бумага была правильная, я бы его отпустил».

«Ба, что же это за бумаги такие? — думал я не раз. — Что в них за сила, если прохожего человека могут защитить от жандарма с ружьем и с петушиными перьями?»

Но на этот вопрос я не мог найти ответа, и потому еще больше мучила меня мысль о бумагах. Как же я могу двинуться в свет, не имея бумаг? Ведь меня сейчас же,

на первом шагу, жандарм поймает и поведет кто знает на какие муки... Я дрожал всем телом при этой мысли. И чем чаще я думал об освобождении от Мойши, тем чаще эти бумаги вставали перед моими глазами.

Даже сниться мне стали бумаги: старые, пожелтевшие, с огромными печатями, они поворачивали ко мне морщинистые лица или смеялись надо мной отвратительными беззубыми ртами. Я был тогда очень несчастен.

Все люди, которых я об этом спрашивал, подтверждали, что без бумаг ни в дорогу двинуться нельзя, ни в подмастерья меня никто не возьмет. Но откуда же мне взять эти бумаги? Кузнец советовал мне спросить о них у Мойши — ведь у него должны же были остаться какие-нибудь бумаги после моего отца!

Да, спросить у Мойши! Как будто мне так легко было к нему подступить! Прежде, когда я был маленький, он бывал ласковее со мной, а когда я стал подрастать, он совсем сдал меня на руки своей жене-ведьме и почти никогда со мной не говорил. Мне даже казалось, что он меня избегает.

С тех пор как мне люди сказали, что он, должно быть, взял деньги, оставшиеся после моего отца, я стал внимательно за ним следить и заметил, что это мое внимание его беспокоит. Он как-то растерянно вертелся, когда мы иногда оставались одни, как будто бы его что-то кусало.

«А что, — думал я, — если бы как-нибудь, когда его жены нет дома, неожиданно напереть на него? Может быть, можно было бы от него хоть что-нибудь выведать».

Вот я и решил при случае так сделать. Такой случай вскоре подвернулся. Мойшечиха уехала в Жолков, в корчме никого не было, кроме самого Мойши. Я подошел к нему и говорю:

— Реб Мойше, люди говорят, что у тебя есть какие-то бумаги от моего отца.

Мойша подскочил, будто его оса ужалила.

— А ты это откуда знаешь?

— Да люди говорят.

— Что за люди?

— Да все, вся деревня.

— Ну, а тебе на что эти бумаги? Ты же и читать-то не умеешь.

— Да! А все-таки я хотел бы знать. Значит, есть они у тебя?

— Есть, есть у меня эти нищенские бумаги! — крикнул Мойша, разозлившись так, будто ему нивесть что неприятное сказали. — Нищий был твой отец, промотал имущество, а тебя мне на горе оставил. Какая мне от тебя польза?

— Знаешь что, реб Мойше, — говорю я, — отдай мне эти бумаги. Я и уйду себе, коли я тебе не нужен.

— Что?! — взвизгнул Мойша. — Ты хочешь уйти? А куда же ты, дурень, пойдешь?

— Я хотел бы поступить в подмастерья, ремеслу обучиться.

Мойша расхохотался во все горло.

— Иди, иди, пустая голова! Думаешь, тебя кто возьмет?! За обучение надо платить, да к тому же надо уметь читать и писать.

Я совершенно остолбенел. Наконец я решился сказать:

— Так хоть покажи мне эти бумаги, дай хоть погляжу на них!

— Тьфу! — крикнул Мойша. — Прицепился ко мне, как репей к кожиху. Ну идем, я покажу тебе твоё сокровище! Счастье твоё, что я их ещё не сжег!

Эти последние слова меня как ножом в сердце резнули. А что, если бы Мойша в самом деле сжег мои бумаги? Ведь я был бы тогда один-одинешенек на свете, как лист, сорванный с дерева! И сам бы я не знал, откуда я родом, и никто бы меня не знал. Я не мог бы двинуться с места и был бы навек прикован к Мойшиной колодке, навек был бы невольником. Меня в дрожь бросило при этой мысли, какие-то огни замелькали перед глазами. С большим трудом я пересилил себя и спокойно пошел с Мойшей в кладовую.

Кладовая была деревянная, пристроенная к корчме сзади, а вход в нее был из сеней. В ней было только одно



— Ну что же ты, дурак, в них увидишь, — ответил Мойша, — и на что тебе это?

маленькое окошечко, накрест забитое полосами железа. Там Мойша складывал всякие вещи, которые брал от мужиков в залог, и все, что у него было более ценного. Там было много полушубков, барашковых шапок, сапог. В сундуке лежали кораллы; говорили даже, что там на дне были спрятаны старинные дукаты и талеры. Несколько раз к этой кладовой подбирались воры, но никогда не могли туда вломиться, так крепко она была построена. Да и собак Мойша держал чутких. Дверь кладовой была низкая и узкая. Мойша должен был согнуться, чтоб пролезть туда. За ним влез и я.

— А тебе тут чего? — окрысился он на меня.

— Как чего? Ты же велел мне итти.

— Да не сюда! Обожди в сенях!

— Все равно, — говорю, — подожду и тут. Я же ничего у тебя не съем.

Мойша вытаращил глаза и уставился на меня так, будто в первый раз в жизни меня видел. Не знаю, что ему во мне не понравилось, но только он плюнул и отвернулся. Потом влез на сундук, дотянулся до полочки, прибитой под самым потолком, и достал оттуда сверток пожелтевших бумаг.

— Вот твои бумажонки! — буркнул он, показывая мне их издали.

— Дай я их погляжу, — говорю я и протягиваю руку.

— Ну что же ты, дурак, в них увидишь, — ответил Мойша, — и на что тебе это? Сиди у меня, пока тебе здесь хорошо, и не ищи себе беды!

И положил бумаги опять на полку.

— Идем отсюда, — говорит, — теперь ты можешь быть спокоен. А что там тебе люди про меня говорят — я же знаю, что у людей языки длинные, — так ты не верь им. Это все враки!

— Что враки? — спрашиваю.

— Ну, с тобой говорить, все равно что горох об стену кидать! — буркнул Мойша и почти что вытолкнул меня из кладовой. А потом, заперев ее на ключ и на замок, он пошел в корчму.

Иоська на минуту замолчал. Пан Журковский, внимательно слушавший его рассказ, усмехнулся и говорит:

— Ну, ты сказал, что это глупая история, а вот рассказываешь, как по книге читаешь.

— Э, пане, — ответил Иоська, — пока это еще не глупая история, а вот теперь пойдет чепуха. А что я рассказываю гладко, так не дивитесь: я в деревне выучился сказки рассказывать. Память у меня хорошая, я хоть раз сказку услышу, так потом расскажу ее лучше и интересней, чем тот, от кого я слышал. Прошлой зимой меня на деревне так за эти сказки полюбили, что ни одна вечеринка не обходилась без меня.

— А ты, как я вижу, мастер на все руки, — сказал пан.

— Ой, пане, — ответил, вздыхая, Иоська, — я не знаю, что это значит, но мне кажется, что как раз в этом мое несчастье. Когда я чувствую, что могу что-нибудь сделать, чему-нибудь научиться, так меня что-то так в середине печет, так меня мутит и мучит, что я не могу ни на минуту успокоиться, пока этого не сделаю, не узнаю, не научусь. Вот ведь не что иное, как это, меня до тюрьмы и довело.

— Ну-ну, рассказывай!

Но на этот раз Иоська не мог окончить свой рассказ: отворилась дверь нашей камеры и его позвали на допрос.

— Необыкновенный мальчик! — пробормотал пан и, задумавшись, начал ходить по камере.

— А мне кажется, что он много врет, — сказал я. — Научился мужикам сказки рассказывать, вот и нам сказку выдумывает.

— Ты думаешь, так?

— Ну, а что же, разве не может так быть?

— Конечно, может. Но лицо у него хорошее... А впрочем, у нас еще будет время убедиться.

На допросе Иоська сидел не долго, не больше получаса. Вернулся он куда веселее и спокойнее, чем ушел.

— Ну что же, — спрашиваю я его, — не съел тебя судья?

— Э, что, судья — добрый человек, — сказал Иоська. — Признаться, я его сперва очень боялся. В деревне говорили, будто тут бьют, когда допрашивают, и горячим железом подошвы припекают.

— Ха-ха-ха! — засмеялся я. — Теперь я знаю, чего ты по ночам так ворочался, стонал да охал! Тебе, небось, снилось, что тебе подошвы припекают.

— Ой, не смейтесь, пожалуйста. Мне и вспомнить страшно эти сны... как я в них намучился. А все напрасно. Судья такой добродушный, говорил со мной по-человечески, не кричал, не фыркал, не бил меня, как жандарм.

— А разве жандарм тебя бил? — спросил пан Журковский.

— Ой, пане, я думал, что он душу из меня вышибет. Поглядите только на мою спину!

И Иоська снял рубашку. Мы ахнули: вся спина мальчика была покрыта синяками и полосами запекшейся крови.

— Ну, а о чем же тебя судья спрашивал? — заговорил первый пан Журковский.

— Да об этом несчастном грабеже...

— Ну, и что же?

— Да что же. Рассказал я ему все, как было, и ладно. Записал в протокол и велел меня отвести.

— Ну, так теперь рассказывай и нам, как это было.

— Да как было!.. Вы уже знаете, как мне жилось у Мойши. Не хотел я больше у него оставаться, да еще к тому же боялся, что если я ему еще раз напомню про эти бумаги, он возьмет да и сожжет их. Вот я и надумал сам их украсть! Мне легче было пробраться в кладовую, чем постороннему, потому что и собаки меня знали и сам я знал все входы и все порядки в доме. Сначала я хотел выкрасть у Мойши ключи, но он, видно, пронюхал что-то и носил их всегда при себе или прятал так, что я не мог найти.

А меня лихорадка трясла. Раз я вбил себе в голову добыть свои бумаги, так уж ни о чем другом думать не мог,

только об этом. И чего мне, впрочем, было долго думать? Раз ночью, когда все спали, я быстро выпилил кусок бревна, влез в кладовую, взял свои бумаги, а потом поставил кусок на место. Вот и все.

— Пустяк! — буркнул пан.

А как только я достал бумаги, я даже не просмотрел их, не развязал бечевки, которой они были обвязаны, а завернул их в тряпку, спрятал за пазуху и покинул Мойшину корчму.

«Куда теперь итти?» подумал я. Страх меня еще не совсем оставил. А вдруг Мойша обдурил меня, показал какие-нибудь глупые бумаги вместо моих? А что, если впотьмах я ошибся и взял какой-нибудь другой сверток? Надо было непременно с кем-нибудь посоветоваться, что делать. И вот, переночевав в первом попавшемся стог сена, я на другой день пошел к знакомому кузнецу и рассказал ему все. Он первый окатил меня холодной водой.

— Плохо ты, парень, сделал, — говорит. — Иди сейчас же к войту, расскажи ему все и сдай ему бумаги.

Защемило у меня сердце от этих слов, а что ж делать? Вижу, совет дельный, ну и иду. Прихожу к войту и уже со двора вижу в окно, что возле стола на лавке сидит жандарм. Сразу будто кто-то шепнул мне, что это — смерть моя. Помертвел я и не могу ни шагу дальше ступить. Мелькнула у меня в голове мысль: бежать! Да уж поздно было. Войт меня увидел и закричал радостно:

— Вот и он сам! Легок на помине! Ну, иди же, подойди поближе!

Я вижу, что уже все открыто, что уже меня ищут. Собравши всю свою храбрость, иду в хату.

— Как тебя звать? — спрашивает жандарм.

— Иоська Штерн.

— Откуда родом?

— Не знаю.

— Ага, значит бродяга!

Окаменел я. Не раз я слышал это страшное слово, слышал много страшных историй о том, что жандармы делают с бродягами, и всегда больше всего этого боял-

ся. А вот тут, на тебе, сразу и я в такую историю попался!

— Да я же здешний, — простонал я. — Пан войт меня знает.

— Я? Тебя? — говорит войт. — Врешь, миленький мой! Я тебя знаю с виду, знаю, что тебя зовут Иоськой и что ты служишь у Мойши-корчмаря, а кто ты такой и откуда взялся, не знаю.

— Ага, значит врет прямо в глаза! — крикнул жандарм и что-то записал себе в книжечку. — Иди сюда, — опять говорит мне. — Ближе! Гляди мне в глаза!

И в ту минуту, когда я поднял на него глаза, он своим тяжелым кулаком ударил меня в лицо, да так, что я сразу упал на землю и кровью облился.

— Встань сейчас же! — крикнул жандарм. — И не смей у меня кричать, а то еще больше получишь! А теперь говори правду. Ты служил у Мойши?

— Да.

— Ты обокрал его?

— Нет.

— Как это — нет?

Я опять глядел на жандарма, обтирая рукавом кровь с лица, и опять здоровенный удар повалил меня на землю.

— Пане жандарм, — сказал тогда войт, пока я барахтался, чтобы встать, — я как начальник села не могу присутствовать при таком обращении с арестантом. Я обязан быть только при составлении протокола, а то, что делается до протокола, ко мне не относится. Если вы хотите учить его, что ему говорить, так выберите себе другое место. У меня этого нельзя.

Жандарм закусил губу, а потом, не говоря ни слова, встал с лавки, достал из своей сумки кандалы, заковал меня и повел в корчму к Мойше. Что они там со мной делали, как они учили меня говорить, этого я не буду рассказывать. Несколько раз я терял сознание от этой науки. Да и недаром же они злились. Я им наделал много бед. Мойша в первую минуту сказал жандарму, что я украл

у него большие деньги, завернутые в бумагу. Он думал, что когда жандарм меня поймает и приведет в корчму, так он сейчас же отнимет у меня бумаги и сожжет их и я навек останусь его невольником. Как только я вошел в корчму, сразу первый вопрос был:

— Где деньги?

— Не знаю. Никаких я денег не брал.

— А где бумаги?

— Я спрятал.

— Где спрятал?

— Не скажу.

Стали они меня убеждать, сперва побоями, потом похорошему. А я все только одно твержу:

— Бумаги я взял, потому что они мои. Я даже не посмотрел, что в них. Я их спрятал и не покажу никому, кроме войта.

Мойша чуть не взбесился. Со злости он велел содрать с меня сапоги и одежду, которая была на мне, а меня одеть вот в эти лохмотья. Наконец, избитого и почти что голого, меня повели к войту.

Опять меня там стали про бумаги спрашивать. Да я не дурак. Только когда увидел, что в хате много свидетелей, пошел в сени и вытащил бумаги из щели. У войта сени темные и большие. Когда я шел к войту и увидел в хате жандарма, я запихнул свой сверток в щель, чтобы его у меня не отобрали.

Когда Мойша увидел сверток в руках у жандарма, он кинулся к нему, как ворон, вопя, что это его деньги и чтоб ему их отдали.

— Эге, пане Мойша, — сказал войт, — это так не делается. — Мы все это должны доставить в суд. Составим тут протокол, а если парень признается, что он у вас этот сверток украл, так уж суд разберет, что дальше делать. Мы запечатаем все это, как есть, печатью, и пан жандарм доставит это вместе с арестантом во Львов. А вы уж в суде будете правды добиваться.

Мой Мойша так на это скривился, будто кружку своей водки выпил, но никто на это внимания не обратил. Жан-

дарм засел писать протокол. А когда все было написано, войтиха дала мне немножко поесть, жандарм опять заковал меня, и мы двинулись во Львов. Я думал, что пропаду от боли и мороза в этой дороге. И до сих пор не знаю, как я выдержал... Ой, пане, как же вы теперь думаете, что со мной будет?

— Ничего не будет, — ответил пан Журковский. — Посидишь немножко да и выйдешь на волю. А кто знает, может быть вся эта история даже пойдет тебе на пользу.

— Как же это?

— Ну, увидим. Никогда человек не может знать, что его ожидает.

V

Дня через два или через три опять зовут Иоську, только не на допрос, а к доктору. «Что это значит? — думаю себе. — Ведь он же не жаловался».

— Сам-то он не жаловался, — говорит мне Журковский, — да даже если бы и пожаловался, это бы ни к чему не повело, но я о нем сказал. Был я в воскресенье у председателя суда и просил, чтобы он велел его осмотреть. Ведь это ужас, что здесь творится! Так дольше продолжаться не может.

И правда, доктор велел Иоське раздеться и записал все в протокол. Вышло ли из этого что-нибудь, не знаю. В наших судах такие дела очень медленно идут, и не каждому дано такое счастье — дождаться результата.

Тем временем пан Журковский говорил Иоське:

— Слушай, парень, хочешь, я тебя выучу читать?

Иоська вытаращил на него глаза.

— Ну, чего ты так смотришь? Если есть охота, так через несколько дней будешь читать. А если я увижу, что ты не врешь и правда память у тебя хорошая, так я уж тебе устрою, что тебя примут в ремесленную школу и ты обучишься какому захочешь ремеслу.

— Ой-ой, пане! — закричал Иоська и бросился ему в ноги, обливаясь слезами.

Больше он ничего не мог сказать и только целовал Журковскому руки.

На другой день пану принесли букварь, и он начал учить Иоську читать. Через два дня парнишка уже умел различать и складывать буквы, а через неделю читал короткие отрывки почти плавно. Он читал бы, вероятно, день и ночь, только ночью у нас света не было. Едва-едва для еды он отрывался на минутку от книжки. А когда смеркалось и читать уже нельзя было, Иоська садился в уголке на своем сеннике, поджимал под себя ноги, обхватывал их руками и так сидя, согнувшись, начинал рассказывать сказки. Он сплетал их без конца, и хотя казалось, что он повторяет всё одинаковые чудеса и приключения, но все же он умел каждый раз расположить их по-разному и по-новому рассказать. Порой прямо было видно, что в сказке он раскрывает перед нами свои собственные мечты.

Он рассказывал про бедного мальчика, который в тяжелой нужде встречает доброго волшебника, перенимает от него волшебные слова и заклинания и идет в свет добывать себе счастье и помогать другим. Трогательными и вместе с тем простыми словами он рисовал его страдания и приключения, встречи с жандармами, неволю у корчмаря, часто забавно переплетая то, о чем говорится в сказках, с тем, что испытал сам.

Я никогда еще не видал мальчика, который бы принимался за книжку с таким жаром, как Иоська. Казалось, что он за эти несколько недель хочет нагнать все, что пропустил за шестнадцать лет своей жизни. Его очень огорчало то, что осенние дни так коротки и в камере так быстро темнеет. Наше единственное оконце, обращенное на запад и расположенное почти под потолком, пропускало мало света даже в полдень, а в четыре часа читать уже было невозможно. А Иоська был бы рад удлинить день вдвое. Наконец однажды он закричал радостно:

— Есть! Я буду читать у окна. Там рассветает скорее и видно дольше, чем в камере.

— Неудобно тебе будет читать, стоя на койке, — говорю я. — Да и окно для тебя слишком высоко.

— Я буду сидеть так высоко, как захочу, — говорит он.

— Как же ты это сделаешь?

— Я привяжу простыню концами к решетке, в изгиб положу свернутое в трубу одеяло и сяду на него, как в седло.

И правда, изобретенье было практичное, и с тех пор все в тюрьме так делают.

Несколько дней Иоська прямо наслаждался окном. Вставал в шесть, как только начинало светать, устраивал свое приспособление и, вскарабкавшись на него, брался за книжку, прижимаясь лбом к самой решетке, лишь бы только захватить как можно больше света. Мы с паном по очереди сторожили дверь, и когда надзиратель шел в камеру, заранее предупреждали Иоську, чтобы он слез и снял свое приспособление. И нам удавалось всегда счастливо избежать наказания, а может быть, надзиратель питал особое уважение к пану Журковскому и не так строго следил за нашей камерой.

Но, к несчастью, кара постигла нас с другой стороны.

Кроме стражи в коридоре, у нас есть еще другая: под окнами тюрьмы ходит часовой с ружьем. Он имеет строгий приказ смотреть, чтобы арестанты не выглядывали в окна и особенно чтобы не переговаривались через окна друг с другом. Военные правила даже велят ему в случае непослушания применять оружие. Правда, до сих пор такого случая не было.

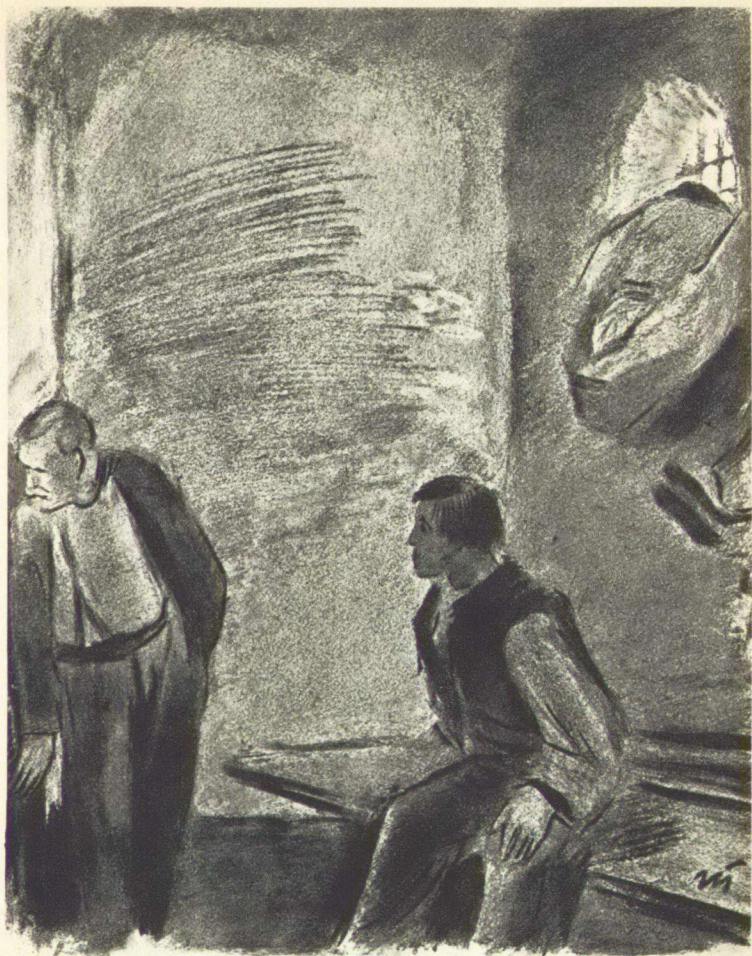
Очень редко бывало, чтобы часовой отходил от своего поста и докладывал коменданту, что из того или другого окна выглядывают или разговаривают. Старые солдаты уже привыкли понимать, что одно дело приказ, а другое — выполнение, и обычно не очень строго придерживались приказа.

Некоторые из них спокойно допускали всякие разговоры, как говорится — были слепы на всё, другие мягко выговаривали арестантам или урезонивали их перестать.

Но хуже было, когда на вахте оказывался рекрут, который боится капрала, как огня. Такой понимал всякий приказ буквально. Если ему сказано было «строго следить», так он понимал это так, что всякого арестанта, который высунет голову из окна, надо обругать последними словами, донести на него капралу или даже схватиться за ружье. Такому «клепачу» арестанты мстили тем, что в его вахту, особенно по вечерам, поднимали ужаснейший крик в окнах. Бедный рекрут бывало прямо бесится и на каждый выкрик из окна считает своей святой обязанностью ответить по крайней мере таким же громким и пронзительным криком. Но так как арестантов было несколько десятков, а он один, то через несколько минут адского шума он, конечно, принужден был умолкнуть и хватался за ружье. Разумеется, в ту же минуту окна, расположенные против него, совершенно пустели, а крик поднимался в другом конце длинного тюремного здания, и часовой, как загнанный зверь, бежал туда и опять грозил ружьем — конечно, с таким же результатом.

Такие истории бывали обычно по вечерам, но иногда и днем. И вот, на несчастье, однажды от трех до пяти стоял на часах как раз такой рекрут. С самого начала он сказал грубость какому-то арестанту, глядевшему в окно. Дан был сигнал, чтобы устроить «клепачу» кошачий концерт. На разных концах тюремного здания, с разных этажей из двадцати окон зараз, посыпались крики, ругань, свист и пронзительное мяуканье. Рекрут тоже кричал, бегал под каждое окно, но нигде никого не мог поймать. Приведенный в ярость, он наконец замолк и остановился на месте, чтобы отдохнуть. Через несколько минут прекратился и кошачий концерт. Казалось, настал полный покой.

В камере уже смеркалось, и Иоська устроил свое приспособление к окну. Но едва он прочел себе под нос не-



В камере уже смеркалось, и Иоська устроил свое приспособление к окну.

сколько слов, как вдруг часовой, увидев его, подскочил и стал напротив окна.

— Марш, ворюга, с окна! — взвизгнул он.

Иоська в первый раз даже не услышал окрика, так он был увлечен историей про цаплю и рыбу, которую как раз читал.

— Марш с окна! — еще громче крикнул часовой.

— Да чего ты хочешь от меня? — ответил Иоська. — Я же тебе не мешаю. Ведь ты же видишь, что я читаю. В камере уже темно, так я вылез немножко к свету.

— Иди прочь, а то стрелять буду! — заорал часовой, и прежде чем Иоська успел слезть со своего «седла», грохнул ружейный выстрел.

— Ой! — крикнул Иоська и, как сноп, свалился на постель, что стояла под окном...

Ноги его судорожно задергались, а руки, в которых он держал книжку, были прижаты к груди. Из-под страниц книги лилась кровь. Пуля попала прямо в сердце.

— Что с тобой? Куда тебя ранили? — закричали мы оба, бросаясь к Иоське.

Но он ничего не отвечал, только его черные глаза блеснули, как раскаленные угли, страшно выделяясь на бледном, как у трупа, лице.

Во дворе под нашим окном и в коридоре у наших дверей одновременно поднялся шум. Там на выстрел сбежала военная стража, а тут надзиратель со сторожами искал камеру, в которую стреляли. Они ворвались к нам.

— Ага, это здесь! — закричали они, увидев лежащего Иоську. — Что, воришка, попало тебе на орехи?

Иоська еще метался и тихо стонал, все прижимая книжку обеими руками к груди, как будто хотел заткнуть ею смертельную рану.

— Что он делал? — спросил у меня надзиратель.

— Да... я... к свету...

Он хотел еще что-то сказать, но у него нехватило дыхания. Последним движением он оторвал руки от груди и показал надзирателю окровавленный букварь.

— Он читал у окна, — пояснил я.

В этот момент пришел из суда посланный с запиской. Он разыскивал надзирателя.

— Господин надзиратель, — сказал он, — где тут сидит Иоська Штерн? Тут записка из суда, что его можно освободить.

А Иоська уже за минуту до этого был свободен.

1959. 10. 10

34759

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ДОМА ДЕТСКОЙ КНИГИ
ДЕТГИЗА

Цена 1 руб.